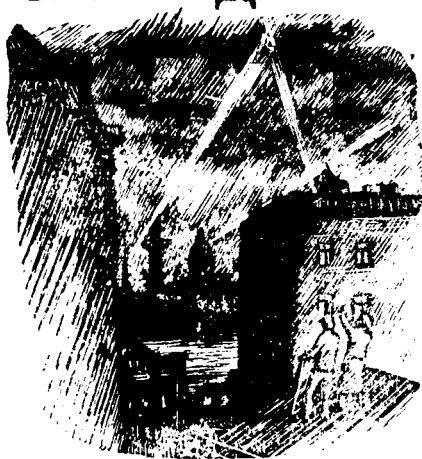


31889

ВЕРА ЖИБЕР

ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН



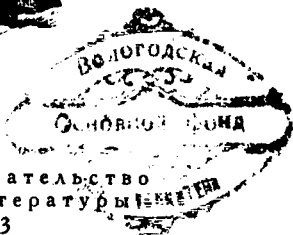
ГОСЛИТИЗДАТ

1948



В. ИНБЕР

ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН



О Г И З

Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1943

5/889.

И-57-руск

Редактор В. К а з и н

Подп. к печ. 11/VI 1943 г. А471. Тираж 25 000
1 п. л. 1,48 уч.-авт. л. Зак. № 99.
Цена 1 р. 25 к.

2-я тип. изд-ва «Московский большевик»
Москва, Петровка, 17

Глава первая

МЫ—ГУМАНИСТЫ

1

В пролет меж двух больничных корпусов,
В листву, в деревья золотого тона,
В осенний лепет птичьих голосов —
Упала утром бомба, весом в тонну.
Упала, не взорвавшись: был металл
Добрей того, кто смерть сюда метал.

2

Здесь госпиталь. Больница. Лазарет.
Здесь красный крест и белые халаты;
Здесь воздух состраданием согрет,
Здесь бранный меч на гипсовые латы,
Укрывшие простреленную грудь,
Не смеет, не дерзает посягнуть.

3

Но немец выжег кровью и железом
Все эти нормы. Тишину палат
Он превращает в судорожный ад.
И выздоравливающий с протезом,
Храбрец, блестяще выигравший бой,
Бледнеет, видя смерть перед собой.

А вестибюль приемного покоя...
 Там сколько жертв! Их привезли сейчас.
 Все эти лица, голоса... какое
 Перо опишет? Девушка без глаз
 (Они полны осколками стекла)
 Рыдает, что она не умерла.

Фашист! Что для него наш мирный кров,
 Где жизнь текла, исполненная смысла,
 Где столько пролетало вечеров
 За письменным столом! Теперь повисла
 Над пустотой развалина стены,
 Где полки книг еще сохранены.

Что для него, для немца, русский дол,
 Голландский сад, норвежская деревня?
 Что для него плодовые деревья,
 Речная кристань, океанский мол?
 Все это — только авиамишени,
 Все это — лишь объекты разрушений.

Умение летать!.. Бесценный дар,
 Взлелеянная гениальным мозгом
 Мечта. Впервые на крылах из воска
 Взлетает к солнцу юноша Икар
 Затем ли, чтоб на крыльях «Мессершмиттов»
 Витала смерть над современным Критом?

Затем ли итальянец Леонардо
 Проникнуть тщился в механизм крыла,
 Чтоб в наши дни, в Берлине, после старта
 Фашистская машина курс взяла
 На университетские аллеи
 Времен еще Декарта и Линся?

В Америке затем ли братья Райт
 В двадцатом веке покорили воздух,
 Чтоб в тучах дыма задыхались звезды?
 Чтоб сектор неба, горизонта край
 Тонул в огне? Чтоб зарево вставало
 От Невки до Финляндского вокзала?

Как грозен неба вид! Как необычен!
 Как глухо полыхают жерла туч
 В часы ночных боев, когда зенитчик
 Проектористу говорит: «Дай луч!»
 И бледный луч на поиски врага
 Вздывается, как грозная рука.

Нашла его. Нашарила за тучей,
 К земле его! Чтоб оземь головой,
 Чтоб подняли его моторы вой,
 Чтобы сгорел он в собственном горючем.
 Чтобы зловещий этот нетопырь,
 Ломая крылья, пал бы на пустырь.

Не вырвется из наших рук, шалишь!..
 Он мечется. Движения все резче.
 Он падает. И, видя это с крыш,
 Пожарные дружины рукоплещут.
 И, слыша это, снизу, со двора,
 Дежурные во тьме кричат «ура!»...

13

Есть чувства в человеческой душе,
 Которыми она гордиться вправе.
 Но не теперь. Теперь они уже
 Для нас как лишний груз при переправе.
 Влюбленность. Нежность. Страстная любовь...
 Когда-нибудь мы к вам вернемся вновь.

14

У нас теперь одно лишь чувство — месть.
 Но мы иначе понимаем это;
 Мы отошли от Ветхого завета,
 Где смерть за смерть. Нам даже трудно счесть...
 С лица земли их будет сотни стертых
 Врагов — за каждого из наших мертвых.

15

Мы отомстим за все: за город наш,
 Великое творение Петрово.
 За жителей, оставшихся без крова,
 За мертвый, как гробница, Эрмитаж,
 За виселицы в парке над водой,
 Где стал поэтом Пушкин молодой.

За гибель петергофского «Самсона»,
 За бомбы в Ботаническом саду,
 Где тропики дышали полусонно
 (Теперь они дрожат на холоду).
 За все, что накопил разумный труд,
 Что немцы превратили в груды груд.

17

Мы отомстим за юных и за старых:
 За стариков, согнувшихся дугой,
 За детский гробик, махонький такой,
 Не более скрипичного футляра.
 Под выстрелами, в снеговую муть.
 На саночках он совершал свой путь.

18

Мы — гуманисты, да! Нам дорог свет
 Высокой мысли (нами он воспет).
 Для нас сиянье светлого поступка
 Подобно блеску перстня или кубка,
 Что переходит к сыну от отца
 Из века в век, все дале, без конца.

19

Но гуманизм не в том, чтобы глядеть
 С невыразимо скорбной укоризной,
 Как враг глумится над твоей отчизной,
 Как лапа мародера лезет в клеть
 И с прибежавшего на крик домой —
 Срывает шапку вместе с головой.

Как женщину — чтоб ей уже не встать —
 Ефрейтор-немец сапогами топчет.
 И как за окровавленную мать
 Цепляется четырехлетний хлопчик.
 И как, нарочно по нему пройдя,
 Танк давит гусеницами дитя.

Сам Лев Толстой, когда бы смерть дала
 Ему взглянуть на Ясную Поляну,
 Своей рубахи, белой, как зима,
 Чтоб не забрызгать кровью окаянной
 Фашиста, осквернителя могил,
 Он старческой рукой бы задушил...

От русских сел до чешского вокзала,
 От крымских гор до Ливии пустынь,
 Чтобы паучья лапа не всползала
 На мрамор человеческих святынь,
 Избавить мир, планету от чумы, —
 Вот гуманизм! И гуманисты — мы.

А если ты, Германия, страна
 Философов, обитель музыкантов,
 Своих титанов, гениев, талантов
 Предавши поруганью имена,
 Продлишь кровавый гитлеровский бред, —
 Тогда тебе уже прощенья нет.

Запомнится тебе ростовский лед.
Не забудешь клинскую метель ты.
И синие морозы невской дельты,
И в грозном небе пулковских высот,
Как ветром раздуваемое пламя,
Победоносно реющее знамя.

Глава вторая
СВЕТ И ТЕПЛО

1

В ушах все время словно щебет птичий,
Как будто ропот льющейся воды:
От слабости. Ведь голод. Нет еды.
Который час? Не знаю. Жалко спички,
Чтобы взглянуть. Я с вечера легла,
И длится ночь без света и тепла.

2

На мне перчатки, валенки, две шубы
(Одна в ногах). На голове — платок;
Я из него устроила щиток,
Укрыла подбородок, нос и губы.
Зарылась в одеяло, как в сугроб.
Тепло, отлично. Только стынет лоб.

3

Лежу и думаю. О чем? О хлебе.
О корочке, обсыпанной мукой.
Вся комната полна им. Даже мебель
Он вытеснил. Он близкий и такой

Далекий, точно край обетованный.
И самый лучший — это пеклеванный.

4

Он с детством сопрягается моим,
Он круглый, как земное полушарье.
Он теплый. В нем благоухает тмин.
Он рядом. Здесь. И кажется — пошарь я
Рукой, перчатку лишьними, —
И ешь сама. И мужа накорми.

5

А там, по Северной, сюда идут,
Идут составы, — каждый бесконечен.
Не счесть вагонов. Ни один диспетчер
Не посягает на его маршрут.
Он знает: это посланный страной.
Особо важный. Внеочередной.

6

Там тонны мяса, центнеры муки,
И все это в три яруса, грядую
Лежит в полкилометра высоту,
Но все это не доезжая Мги.
Там овощи. Там витамины «Це»...
Но мы — в блокаде. Мы почти в кольце.

7

И даже будто в Мурманске стоят
Для нас американские продукты:
Консервы, сахар, масло. Даже фрукты.
Бананы... Ящики за рядом ряд.
И за долготерпенье нам в награду —
На каждом надпись: «Только Ленинграду».

Но мы — в кольце. А тут еще мороз
 Свиристует, не виданный дотоле.
 Торпедный катер стынет на приколе,
 Автобус в ледяную корку врос;
 За наименьшем тока — нет трамваев.
 Все тихо. Город стал неузнаваем.

И пешеход, идя по мостовой
 От Карповки до улицы Марата,
 В молчаньи тяжкий путь свершает свой.
 И только редкий газогенератор,
 На краткую минуту лишь одну
 Дохнув теплом, нарушит тишину.

Как бы сквозь сон, как в деревянном веке,
 Невнятно где-то тюкает топор.
 Фанерные щиты, сарай, забор.
 Полусгоревшие дома-калеки,
 Остатки перекрытий и столбов, —
 Все рубят для печурок и гробов.

Две женщины (недоля их света)
 В платках до глаз, соприкасаясь лбами,
 Пенек какой-то пилят. Но пила,
 С искривленными, слабыми зубами,
 Как будто бы и у нее цынга,
 Не в состояньи одолеть пенька.

Ни лая, ни мяуканья, ни писка
 Пичужьего. Небось, пичуги там,
 Где, весело летая по пятам
 За лошадю, как из горячей миски,
 Они хватают зернышки овса...
 Там раздаются птичьи голоса.

Нет радио. И в шесть часов утра
 Мы с жадностью «Последние известья»
 Уже не ловим. Наши рупора —
 Они еще стоят на прежнем месте, —
 Но голос... голос им уже не дан:
 От раковин отхлынул океан.

Вода!.. Бывало, встанешь утром рано,
 И кран, с его металла белизной,
 Забулькает, как соловей весной,
 И долго будет течь вода из крана.
 А нынче, ледяным перстом заткнув,
 Мороз оледенил блестящий клюв.

А нынче пьют из Невки, из Невы
 (Метровый лед коли хоть ледоколом).
 Стоят, обмерзшие до синевы,
 Обмениваясь шуткой невеселой,
 Что уж на что, мол, невская вода,
 А и за нею очередь. Беда!..

А тут еще какой-то испоганил
 Всю прорубь керосиновым ведром.
 И все, стуча от холода зубами,
 Владельца поминают недобром:
 Чтоб дом его сгорел, чтоб он ослеп,
 Чтоб потерял он карточки на хлеб.

Лишилась тока сеть водоснабженья,
 Ее подземное хозяйство труб.
 Без тока, без энергии движенья
 Вода замерзла, превратилась в труп.
 Насосы, фильтры — их живая связь
 Нарушилась. И вот — оборвалась.

(В системе фильтров есть такое сито —
 Прозрачная стальная кисея,
 Мельчайшее из всех. Вот так и я
 Стараюсь удержать песчинки быта,
 Чтобы в текучей памяти людской
 Они б осели, как песок морской.)

Зима роскошествует. Нет конца
 Ее великолепьям и щедротам.
 Паркетам зеркального торца
 Сквала землю. В голубые гроты
 Преобразила черные дворы.
 Алмазы. Блеск... Недобрые дары!

И правда, в этом городе, в котором
 Больных и мертвых множатся ряды,
 К чему эти кристальные просторы,
 Хрусталь садов и серебро воды?
 Закрывать бы их!.. Закрывать, как зеркала
 В дому, куда недавно смерть вошла.

Но чем закрыть? Без теплых испарений,
 Воздушный свод неизяснимо чист.
 Не тающий на ветках снег — сиренев,
 Как дымчатый уральский аметист.
 Закат сухумской розой розовеет...
 Но лютой нежностью все это веет.

А в час, когда рассветная звезда
 Над улиц перспективой несравненной
 Сияет в бездне утренней, — тогда
 Такою стужей тянет из вселенной,
 Как будто бы сам космос, не дыша,
 Глядит, как холодеет в нас душа.

Недаром же на-днях, заняв черед
 С рассвета, чтоб крупы достать к обеду,
 Один парнишка брякнул вдруг соседу:
 «Ну, дед, кто эту ночь переживет, —
 Тот будет жить». И старый дед ему:
 «А я ее, сынок, переживу».

Переживет ли? Ох!.. День ото дня
 Из наших клеток исчезает кальций
 Слабеем. (Взять хотя бы и меня —
 Ничтожная царапина на пальце,
 И месяца уже, пожалуй, три
 Не заживает, прах ее бери!)

Как тягостно и, главное, как скоро
 Теперь стареют лица! Их черты
 Доведены до птичьей остроты
 Как бы рукой зловещего гримера:
 Подбавил пепла, подмешал свинца, —
 И человек похож на мертвеца.

Открылись зубы, обтянулся рот,
 Лицо из воска. Трупная бородка
 (Такую даже бритва не берет).
 Почти без центра тяжести походка,
 Почти без пульса серая рука.
 Начало гибели. Распад белка.

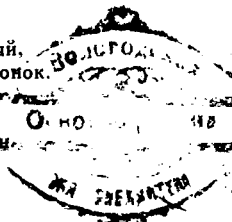
У женщин начинается отек,
 Они все зябнут (это не от стужи).
 Крест-накрест на груди у них все туже
 Когда-то белый вязанный платок.
 Не веришь — неужели эта грудь
 Могла дитя вскормить когда-нибудь?

Апатия истаявшей свечи...
 Все перечни и признаки сухие
 Того, что по-ученому врачи
 Зовут «алиментарной дистрофией»
 И что не латинист и не филолог
 Определяет русским словом — голод.

А там, за этим, следует конец.
 И в старом одеяле цвета пыли,
 Английскими булавками зашпилен,
 Бечевкой перевязанный мертвец
 Так на салазках ладно снаряжен,
 Что, видимо, в семье не первый он.

Но встречный, в одеяльце голубом,
 Мальчишечка грудной, — само здоровье,
 Хотя не женским, даже не коровьим,
 А соевым он вскормлен молоком.
 В движении — не просто встреча это:
 Здесь жизни передана эстафета.

И тут в мое ночное бытие
 Вплетается, со мною разлученный,
 Иной ребячий облик — мой внучонок.
 Он в валеночках, золотце мое...
 Он тепел. Осязаем. Он весом.
 Увы! Я сплю. И это только сон.



688/16

Глава третья

ОГОНЬ

1

Мороз, мороз!.. Великий русский холод,
Испытанный уже союзник наш.
Врагов он жалит, как железный овод,
Он косит их, прессует, как фураж,
И по телам заснувших мертвым сном
Он катит дальше в танке ледяном.

2

Как из былины, в кожаном шеломе
Глядит из башни (ну, и здоровà!)
Румяная седая голова.
А дальше в этой танковой колонне
Идут бураны, снежные вьюны,
Заносы... Не видать еще весны.

3

Треск по лесу! Алмазная броня
То изумрудом вспыхнет, то рубином.
А чуть стемнеет, на излете дня,
Вооружась серебряной дубиной,
Уходит партизанить наш старик,
Как в дни Наполеона он привык.

4

И тут уж все немецкое бежит,
 Чтоб от него укрыться как-то, где-то.
 И бледная немецкая ракета
 Беззвучно заикается, дрожит.
 Все снег да снег, без края и конца,
 Вокруг Оломны и Гороховца.

5

Ни шороха, ни звука, ни движенья.
 Не покидает свой высокий пост
 Луна, чье кольцевое окруженье
 Истаивает под напором звезд.
 И вдруг раскат. И ожил горизонт..
 Товарищи, здесь Ленинградский фронт!

6

Вчерашний день мы провели в лесу,
 На наших дальнобойных батареях.
 И я его забуду не скорее,
 Чем собственное имя. Пронесу
 Его в глубинах сердца. Никогда
 Туда не проникают холода.

7

С первоначальной силой излученья
 Там в вечном сохраняются тепле
 Сокровища: луч солнечный в Кремле,
 На ордене, в минуту получения,
 Звук голоса, который из Москвы
 Мы слушали на берегах Невы.

В безмолвии мы слушали его.
 Сигнал тревоги в середине фразы
 Из тишины не вывел никого.
 Над городом шел бой. Потом на базы
 (Мы поняли) вернулись «ястребки»,
 Но наши мысли были далеки.

Речь продолжалась. И такая в ней
 Уверенность была, такая сила,
 Что эта ночь, которая гасила
 Тревогами созвездия огней, —
 От сталинского голоса редела.
 «Мы победим, — сказал он, — наше дело

Есть дело правое». Был напоен
 Овациями воздух. Будто стая
 Крылатых, красным с золотом, знамен
 Над нами бушевала, пролетая.
 Казалось нам, что где-то высоко
 Победный пурпур плещет о древко.

И мы — десятки, тысячи людей,
 В настороженном мраке Ленинграда, —
 Мы ощутили вдруг, что мы — громада.
 Мы — сила. Что сияние идей,
 К которым мы приобщены, — бессмертно.
 Пусть ночь. Пускай еще не видим черт мы

Лица Победы. Но ее венка
 Лучи уже восходят перед нами.
 Нас осеняет ленинское знамя,
 Нас направляет Сталина рука.
 Мы — будущего светлая стезя,
 Мы — свет. И угасить его нельзя.

Прошло четыре месяца. И вот
 В день Красной Армии, на фронте, снова
 (Февраль: суровый месяц — снег и лед)
 Мы услышали сталинское слово
 Мы наблюдали выражение глаз
 Людей, его читающих при нас.

Они приказ Наркома Оборона
 Читали в полдень и когда закат
 Был золотого цвета, как патроны, —
 В землянке, где над головой накат,
 И у костра, под елью вековой,
 Когда был Млечный путь над головой.

Оружием всех видов и родов
 Приказ был соответственно отмечен.
 Связист его читал у проводов,
 У карты — генштабист. И лишь разведчик,
 Кому и лишний вздох не разрешен,
 В тылу врага был этого лишен.

Один из них рассказывал: «В снегу
И сам иной раз станешь, как ледяшка,
Но согревает ненависть к врагу.
Сидишь часами и — оно не тяжко.
Мороз! А в голове горит одно —
Задание, которое дано».

Он прав, разведчик. От глухой тропы,
От точки огневой до бури шквальной,
Когда столбы земли, подобно пальмам,
Перерастают сосны и дубы, —
Везде и всюду, явен или скрыт,
Но этот наш огонь всегда горит.

Он партизанским полымем-пожаром
Захватчиков сжигает на корню.
Закован в современную броню,
Старинным русским полыхает жаром.
Он — меч союзников, он — бич врагов,
Ему дивятся пять материков.

Навек смертельно им потрясены
Те, кто его удары испытали.
Блистательно сказал товарищ Сталин,
Что артиллерия есть бог войны.
Всесокрушающее божество!..
Мы наблюдали в действии его.

Огоны! В честь нас, людей из Ленинграда,
 В честь пятерых — пять молний, пять громов
 Рванули воздух (мы стояли рядом).
 По вражьим блиндажам пять катастроф.
 И в интервалах первым начал счет
 Один из нас, сказав: «За наш завод!»

21

Второй проговорил: «За наш совхоз,
 Во всем районе не было такого».
 «За сына», — тихо третий произнес.
 Четвертая — инструкторша горкома:
 «За дочку. Где ты, доченька моя?»
 «За внука моего», — сказала я.

22

Я внука потеряла на войне...
 О нет! Он не был ни боец, ни воин.
 Он был так мал, так в жизни неустроен.
 Он должен был начать ходить к весне.
 Его зимою, от меня вдали,
 На кладбище подмышкой понесли.

23

Его эвакуацией за Волгу
 Метнуло. Весь вагон, куда ни глянь,
 Все дети. Ехать предстояло долго...
 Так в лес детеныша уводит лань,
 Все думает спасти его, пока
 В ее сосцах хоть капля молока.

Он был, как тот березовый росток,
 Который ожил в теплоте землянки
 И вырос на стене, как на полянке,
 Но долго просуществовать не мог.
 Хирел, мечтал о солнце, как о чуде,
 И вздрагивал от грохота оружий...

Смертельно ранящая, только трюнь,
 Воспоминаний взрывчатая зона...
 Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной.
 И все же, невзирая на огонь,
 Без жалости к себе, без снисхожденья
 Иду по этим минным заграждениям

Затем, чтобы перо свое питала
 Я кровью сердца. Этот сорт чернил...
 Проходит год — они все так же алы,
 Проходит жизнь — им цвет не изменил.
 Чтобы писать как можно ярче ими,
 Воспользуемся ранами своими.

Используем все огневые средства
 Для ненависти огненной к врагу.
 Боль старости, загубленное детство,
 Могилка на далеком берегу...
 Пусть даже наши горести и беды.
 Являются источником победы

Преследуем единственную цель мы,
Все помыслы и чувства об одном:
Разить врага прямым, косоприцельным,
И лобовым, и фланговым огнем,
Чтобы очаг отчаянья и зла —
Проклятье гитлеризма — сжечь дотла.

Глава четвертая

ГОД

1!

Зеленым листьям наступил конец.
В предчувствии грядущего мороза
Уже поникла юная береза,
Бледна, как необстрелянный боец.
Зато рябина, с пурпуром в петлицах,
Не в первый раз мороза не боится.

2

А на Неве ни щороха, ни плеска,
И город ало-черно-золотой
В ней отражен с венецианским блеском,
С поистине голландской чистотой.
Но наяву насколько он живей
В исконной русской прелести своей!

3

Он все такой же, как и до войны,
Он очень мало изменился внешне.
Но, взглядываясь, видишь: он не прежний,
Не все дома попрежнему стройны.
Они в закатный этот час осенний
Стоят, как люди после потрясений.

4

Один кровоточит кирпичной раной,
 Тот известковой бледностью покрыт,
 Там вылетели окна из орбит
 (Одно из них трепещет, как мембрана),
 А там неузнаваема, как маска,
 Окисленная порохом окраска.

5

Осколок у под'езда изувечил
 Кариатиды мраморную грудь.
 Страдания легли на эти плечи
 Тяжелым грузом, — их не разогнуть.
 Но все же, как поддержка и защита,
 Попрежнему стоит кариатида...

6

На Ленинград, обхватом с трех сторон,
 Шел Гитлер силой сорока дивизий.
 Бомбил. Он артиллерию приблизил,
 Но не поколебал ни на микрон,
 Не приостановил ни на мгновенье
 Он сердца ленинградского биенье.

7

И, видя это, раз'яренный враг,
 Предполагавший город взять с разбега,
 Казалось бы, испытанных стратегов
 Призвал на помощь он: Мороз и Мрак.
 И те пришли, готовые к победам,
 А третий, Голод, шел за ними следом.

Он шептуном шнырял из дома в дом,
 Ныл нытиком у продуктовой кассы.
 А в это время рос ледовой трассы
 За метром метр. Велась борьба со льдом.
 С опасностью, со смертью пополам
 Был доставляем хлеба каждый грамм

И Ладога, как птица-пеликан,
 Самопожертвования эмблема,
 Кормящая птенцов самозабвенно,
 Великий город, город-великан,
 Питала с материнской любовью
 И перья снега смешивала с кровью.

Не зря старушка в булочной одной
 Поправила беседовавших с нею:
 «Хлеб, милые, не черный. Он ржаной,
 Он ладожский, он белого белее.
 Святой он». И молитвенно старушка
 Поцеловала черную горбушку.

Да, хлеб... Бывало, хоть не подходи,
 Дотронуться — и то бывало жутко.
 Начнешь его — и с'ешь без промежутка
 Весь целиком. А день-то впереди!..
 И все же, днем ли, вечером, в ночи ли,
 Работали, учились и учили.

12

Студент... Огонь он только что раздул.
 Старательно распиленный на чурки,
 Бросает он в него последний стул.
 А сам перед игрушечной печуркой
 На корточках (пусть пламя припечет)
 Готовит он очередной зачет.

13

Старик-профессор... В клетчатом платке
 Поверх академической ермолки.
 Насквозь промерзший, с муфтой на шнурке,
 С кастрюльками в клеенчатой кошелке.
 Ему бомбежка путь пересечет,
 Но примет у студента он зачет...

14

Тяжелый пласт осенней темноты
 Так угнетал порой невыносимо,
 Что были двадцать граммов керосина
 Желанней, чем в степи глоток воды.
 О, только бы коптилка не погасла!..
 Едва горит соляровое масло.

15

И все же не погас он у меня,
 Сосущий масло, марлевый канатик,
 Мерцающее семечко огня.
 Так светит иногда светляк-фанатик
 И чувствует, что он по мере сил
 Листок событий все же озарил.

Я знаю, что в грозовой этой чаше
 Другим удастся осветить крупней
 Весь этот год, вплоть до его корней.
 Но и светляк был точкою светящей,
 И он в бореньях тьмы не изнемог.
 Он бодрствовал. Он сделал все, что мог.

И Муза, на сияние лампадки,
 Притянутая нитью лучевой,
 Являлась ночью под сирены вой,
 В исхлестанной ветрами плащ-палатке,
 С блистанием волос под капюшоном,
 С рукой, карандашом вооруженной.

Она шептала пишушим: «Дружок,
 Не бойся, я с тобой перезимую».
 Чтобы согреть симфонию Седьмую,
 Дыханьем раздувала очажок.
 И головешка с нежностью веселой,
 Как флейточка, высвистывала соло.

Любитель музыки! Пожалуй, в ней ты
 Увидел бы, в игре ее тонов,
 И впрямь порханье светлых клапанов
 По угольному туловищу флейты.
 И то, как вмиг ее воспламеня,
 По ней перебегает трель огня.

С электролампой, в световом овале,
 Входила Муза в номерной завод
 Под сумрачный, оледенелый свод,—
 Там Стойкостью ее именовали...
 И цех, где было пусто, как в соборе,
 Вновь оживал. Все снова были в сборе.

Все нити и лучи сходились к ней,
 От одиночных маленьких сияний
 До величавых заводских огней,
 Бросавших блики на снарядов глянец.
 И каждый отблеск радовал сердца
 И производственника и бойца.

Бывало, Муза днем, в мороз седой,
 Противовесом черной силе вражьей,
 Орудовкой, в берете со звездой,
 Стояла у Канавки у Лебязьей.
 И мановеньем варежки пунцовой
 Порядок утверждала образцовый.

В апреле Муза скалывала лед.
 Ей было трудно. Из-под зимней шапки
 Росинками блестит, бывало, пот.
 Ей в руки бы подснежников охапки...
 Но даже в старом ватнике — она
 Была все та же юная Весна.

Стремительна, прекрасна и строга.
 Крылатая!.. И рядом с Музой каждый
 И чувствовал, и думал не однажды:
 «Чтобы вернее сокрушить врага,
 Я все отдам, и даже бытие,
 О Ленинград, сокровище мое!»

Всегда, везде, в обличи любом,
 К любому причисляема отряду,
 Она была любовью к Ленинграду
 И верою в победу над врагом,
 Надеждою... Всего не перечеть.
 Такой она была. Была и есть!



Цена 1 р. 25 к.